



**Лидия САВЕЛЬЕВА**

г. Петрозаводск

## Вторжение политики в бытие и сознание

В №5-6, 11-12 журнала «Север» за 2017 год и №1-2 за 2018 год были опубликованы воспоминания Лидии Савельевой «Потерянный рай» и «Движение горизонта», рассказывающие о предвоенных, военных и послевоенных годах, проведенных в Полтаве. Лидия Владимировна продолжила работу над воспоминаниями. Предлагаем читателям новые главы.

**П**лотный дым памяти почему-то упрямо завлакивает начало моего «политического инакомыслия». То ли дело в том, что в моей семье не было достаточно определенного протестного начала, то ли потому, что детей до поры до времени оберегали от негативных впечатлений, то ли потому, что в моей школе или на моих глазах не было каких-то вопиющих нарушений человеческих прав, но в этом смысле я чувствовала себя вполне комфортно до первого слабого раската грома в лице Анны Яковлевны по поводу «выеденного пасхального яйца».

Повсеместного октябрятского движения в мои времена еще не существовало, а пионерское движение, во всяком случае в моем восприятии, было привычной частью официальной школьной жизни, не больше, без особой романтики, героизации или чего-либо подобного. Помню, как спустя пятнадцать лет мы с моим уже смертельно больным отцом были впечатлены ребячьим восторгом моего девятилетнего племянника, забежавшего к деду в больницу показаться в пионерском галстуке. Когда он убежал,

папа даже задался вопросом: «Правильно ли мы с матерью понимали детскую психологию?»

Нельзя сказать, что я пренебрегала своими пионерскими обязанностями, но не припомню совершенно чрезвычайного подъема или восторга. Если я с удовольствием бегала в госпиталь, выпускала стенгазету или заполняла свой «Уголок книголюбца», так это же не столько из пионерского, сколько просто из ребячьего энтузиазма.

Кажется, по времени за слабым громовым перекатом Анны Яковлевны последовал и второй громовой раскат – предупреждение моего отца о необходимости быть «поосторожнее» с Лерой Марченко, за отцом которой стояли тени жертв, и эту опасность я никогда уже не забывала, хотя по-прежнему мы с ней вместе ходили на занятия и обратно. Еще бы не вместе! Ведь очень часто после своей второй смены мы (нас ждала еще и ее младшая сестра Кира) возвращались в темноте, дрожа от страха, а все из-за великовозрастных хулиганов – мальчишек, живущих справа от Березового скверика. Они караулили на-

шу тройцу, однажды напав и напугав не на шутку, и это была столь серьезная угроза, что родители по очереди ходили нас встречать. Но в школе мы с Лерой обычно общались мало, выбирая себе других подружек, тем более в роли постоянной соседки по парте. Кстати, это святое избирательное право после «назначений» в начальной школе ввела наш классный руководитель Прасковья Петровна и неукоснительно соблюдала все три года своего классного руководства. В это время у меня еще не было, как позже, закадычной подружки, которая могла бы заслонить собою остальных. К нам тогда любили бегать многие девочки, которые, между прочим, предпочитали, чтобы мой отец был в это время дома, а не на своих занятиях по расписанию. Спрашивали: «А твой папа будет?» Он как-то всегда умел ребят чем-то заинтересовать, озадачить или насмешить. Мальчишек – это понятно, летом вечно возились с любимой рыбалкой, зимой мастерили что-то, но он легко находил общий язык и с моими девчонками. То учил ездить нас с Аллой Головной на велосипеде, забавно бегая за его седлом и, главное, смешая нас своими комментариями, то показывал цирковые фокусы нам с Нелей, то обучал дочку своей бывшей студентки Асю Вайнштейн (с которой до «эпохи ансамблей» мы сидели за одной партией) древнееврейскому алфавиту и придумывал веселые ассоциации, чтобы легче запоминать графические знаки.

Что не все благополучно в нашей «самой счастливой стране мира», я стала догадываться как-то постепенно и параллельно родительской системе умолчаний или просто шутливому тону по поводу всяческого официоза. Конечно, стойкая прививка от него вырабатывалась годами.

Хотя отец прочно слыл у нас в семье далеким от музыки, он по утрам любил то ли напевать, то ли намурлыкивать слова на мало-мальски узнаваемый мотив, обычно во время бритья, когда большинство членов нашего большого семейства уже разбежалось по своим делам. При этом репертуар его, можно сказать, был постоянным и вечным, как законы природы. Это были две песни, которые тогда лились из всех репродукторов: «Песня о Сталине» (только первая строфа) и припев из «Марша артиллеристов»: «Артиллеристы, Сталин дал приказ...» Наверняка и Дунаевский, и Хренников с трудом узнали бы свои популярные мелодии, а авторы текстов – свои стихи. Впечатление было такое, что отец вряд ли их когда-либо слушал от начала до конца, а быть может, это был его еще фронтовой репертуар, когда он подпевал, шагая в колонне. Однако дома это был другой жанр: ни патриотическая песня, ни марш. Каждое из тягучих песнопений продолжалось ровно столько, чтобы начать и кончить длинную и нудную

процедуру бритья. Он затягивал «От края до края...» и всегда с удовольствием нажимал на словосочетание «по го-орным вершинам», а еще выразительнее – «где го-о-орный орел», уже имея в виду нужную ассоциацию, которую мы все (разве что кроме Танечки, всегда любящей вертеться рядом с «дядей Володей»), конечно, понимали однозначно. Когда же переходил к третьей строчке: «о Сталине мудром, родном и любимом», то получалось с явными перерывами: «о Ста-а-а... (тут он пойдет на кухню за теплой водой из чайника, а вернувшись, продолжит)... ли-ине-е му-у-удром, ро-о-д... (намазывает помазок мылом)... ном и лю-у-... (подставляет язык под щеку и замолкает, сбывая щетину, но тут же может подхватить четко, громко и с подчеркнутым жаром)... би-имом, прекрасную песню поет весь народ!» Далее он вытирал лицо сначала намоченным полотенцем, потом – сухим, освежался одеколоном и обычно оборачивался к наблюдавшим за этим процессом младенческим глазам (наверное, когда-то и моим, но в моем отрочестве – Таниным, позже уже пошли поочередно внуки): «Смотри, Танечка, какой у тебя дядя Володя, гладенький, красивый да хороший, ну-ка давай скорей целуй его!» И Танечка с готовностью расчмокивала, признавая его безусловную красу (впрочем, так было до ее «восстания» уже чуть ли не в 8 лет, когда она усомнилась в ней, и мой отец с большим сожалением признал: «Э... да наша кнопка выросла... Ну, все... пора уж и замуж отдавать...»).

Поскольку бритье было ежедневным и с таким же ежедневным вокальным сопровождением, это, конечно, было своеобразной прививкой против всякого неумеренного воспевания власти.

Из других отцовских антиофициозных уроков мы с братом и Таней спустя годы вспоминали его шутку во время домашнего обсуждения моей школьной проблемы: как оформить нашу первомайскую колонну (1952 год).

Всем старшеклассницам предложили прийти в белых платьях, а в руках держать коричневые томики сочинений Сталина с вложенной искусственной веткой цветущей яблони, чтобы перед трибуной дружно махать этими символами. Папа тогда промолчал, но выдвинул встречное предложение, поинтересовавшись, а будут ли удостоены чести пройти колонной первоклассники. Я сказала, что нет, только с восьмого класса участвуют в демонстрации. Он уморительно серьезно посетовал на совершенно напрасное возрастное ограничение: «Очень и очень жаль, а как бы все они хорошо смотрелись! Только представьте себе: платьица беленькие, юбочки накрахмаленные, детки все одинаковые, как солдатики, и у

всех на голове по большому красному банту, а в руках по горшку... лучше ярко-алого, первомайского цвета: когда проходили бы мимо трибуны, салютовали бы крышками. А как бы это звучало, прямо как литавры!!!» Этим он тогда рассмешил даже маленькую Татьянку, увещевавшую его: «Фу, дядя Володя, фу! С горшками – стыдно!» (Ей тогда было три с половиной года.)

По мере моего взросления отцовская скептическая ирония только возрастала. Кстати, помню, в тот раз наша школьная администрация по моей подсказке (а точнее – маминной) остановилась на другом решении – физкультурные упражнения с голубыми шарфиками из марли и потом несколько тогда очень модных акробатических пирамид возле трибуны.

Вообще же, в моем детском возрасте, который пришелся на трудные послевоенные годы, пионерская атрибутика (сама форма, горн, барабан, даже знамена для каждого отряда) еще были роскошью, и не исключаю, что это могло снижать градус пионерского энтузиазма. Такие предметы находились в ведении старшей пионервожатой и появлялись лишь в исключительных случаях, позже выдавалась даже форма для троих – знаменосца, барабанщика и горниста. Уровень жизни после войны укреплялся долго и постепенно.

Зато я хорошо помню, как непомерно тяготилась единожды выпавшей на мою долю необходимостью участвовать в какой-то военизированной жизни пионерского лагеря летом после 6 класса. Мама почему-то купила путевку от своей, уже железнодорожной школы (№ 69) на целых 24 дня, но я выдержала только две недели. Там как будто специально в летнюю жару отлучили меня не только от любимой речки, но и от книг. Я просто возненавидела и пионерский горн, и пионерский барабан, до той поры не досаждавшие мне, а тут будившие спозаранку на общую скучную линейку, где все мне были незнакомы, или созывавшие на «героический бросок» через сосновый бор в соседний Зеньковский колхоз на борьбу с сорняками под палящим солнцем. Еще запомнилось, как строго запрещалось читать во время «мертвого часа», и это само по себе могло навсегда посеять отвращение подростка ко всем и всяческим лагерям.

Мое активное неприятие Зеньковского лагеря, конечно, было связано и с первой разлукой с родными, плюс его очень усугубило то, что все дети там были из одной школы, но совсем не моей, и только к концу своего пребывания я немножко сошлась с одной девочкой Лизой, которая страдала без чтения и речки так же, как я. Именно эта Ли-

за потом жалела о моем преждевременном отъезде. Я бы и не вспомнила о ней, если бы спустя неполных три года не свела бы меня судьба с ее мамой (по воскресеньям к нам в лагерь приезжали родители, и мы с Лизой их знакомили) при незабываемых обстоятельствах, о которых скажу позже.

Мне было 14 лет (1951 год), когда меня принимали в комсомол, сначала в классе, а потом в райкоме ВЛКСМ. Принимали весь класс оптом, без всяких ограничений, видимо, потому, что из всех параллельных только в нашем передовом отряде ни у кого не было двоек в четверти. Тогда у нас главным для вступления в комсомол был вопрос об учебе и мере прилежания. Однако, конечно, надо было каждой из нас еще отчитаться устно за «пионерские дела» (у меня в отчете были постоянные пионерские поручения звеньевой и редактора классной газеты) и ответить в райкоме на один из требуемых вопросов:

1) имена секретарей наиболее известных в мире коммунистических партий (во всяком случае, с тех времен помню таких деятелей, как Морис Торез, Пальмиро Тольятти, Броз Тито, Янош Кадар, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Чжоу Эньлай, там еще были фамилии, но я уже подзабыла);

2) съезды комсомола (их тогда было 11, все надо было запоминать (когда мой отец увидел список, который я читаю, то засомневался, стоит ли загружать память, так как все равно райкому принимать хороших учеников надо: ведь он подает отчет о пополнении в райком партии);

3) объяснить, когда и почему комсомол был назван именем Ленина.

Наверное, с неделю девочки из нашего класса волновались, твердили и проверяли ответы друг друга, при этом, как помню, почему-то с трудом артикулируя имя «Ульбрихт», а Лера Марченко (но совсем не Рита Довгаль, председатель нашей дружины), по своей высокой пионерской активности, руководила нами, сказав, что отвечает за нас перед старшей пионервожатой и девочкой-комсоргом из выпускного класса (Лера мечтала о такой должности и чувствовала себя уязвленной, когда выбрали Риту).

Через год мне, уже комсомолке, было предложено на выбор: быть редактором общешкольной газеты или пионервожатой в 4 классе. Я, за 5 лет сама замученная и замучившая папу и брата выпусками классной стенной печати, с радостью отказалась от первого и выбрала второе, даже не понимая, что это: у нас в школе до этого и не слыхивали о вожатых из старших классов. Причем на следующий год оставила это поручение за собой, хотя меня потом выбрали в председатели школь-

ного учкома и я могла бы отказаться. Но ребяческая активность моя, видно, еще не иссякла и пробивалась фонтанчиками.

Папа мой без энтузиазма, но одобрил эти общественные нагрузки. Он даже тогда процитировал смешное стихотворение Маяковского: «Если тебе корова имя, То у тебя должно быть молоко и вымя <...> Если тебе комсомолец имя, Имя крепи делами своими...» Здесь должна как-то прокомментировать исключительность этого цитирования, так как у отца не раз проскальзывало, что он разочаровался в кумире своей юности и бывшем наставнике, но причину этого он мне никогда не объяснял, а я как-то и не интересовалась. Однако много позже моя мама, читая при мне, кажется, какие-то дневниковые записи Пастернака, заметила: «Послушай, как хорошо сказал Борис Пастернак о том, что переменялся к Маяковскому! Ох, как солидарен с ним был в этом твой отец: он любил ранние его стихи, а когда «Маяковского стали вводить насильственно, как картофель при Екатерине (слова Б.Пастернака)», папа уже перестал его читать». Одновременно с цитатой из Маяковского папа меня предупредил, что главное для пионервожатого – суметь обойтись без глупостей, за которые потом было бы стыдно. Наверное, поэтому он мне сразу подсказал, что же делать с четвероклашками: сводить на просветительские экскурсии, на полезный и интересный для них кинофильм, проводить литературные викторины, проверяя и подпитывая их читательские предпочтения, помогать с художественной самостоятельностью, помочь мастерить игрушки на елку и т.д. Думаю, все подсказал правильно, так как через 2 года за эту работу мне выдали Почетную грамоту от ВЛКСМ (точнее не помню, так как сдала ее потом при поступлении в университет с другими документами).

В мои отроческие годы я как-то не припомню чрезмерно-официозного накала и тем более фанатизма в деятельности нашей комсомольской организации: конечно, были скучные отчетные собрания, но на них всегда упор делался на учение и на помощь сильных учеников слабым, и мне кажется, что они как-то даже объединяли нас, подтягивали двоечников (во всяком случае, помню рыдания одной очень славной, но ленивой девочки-одноклассницы, Оли Елизаровой, дочери директора какого-то большого Полтавского завода, на которую уговоры учителей не действовали, но всеобщее осуждение ее явно подстегнуло). Даже политинформаций у нас никаких не помню, хотя десятилетием позднее не только обязательные политинформации в школе, но и комсомольский формализм расцветали очень пышно. Комсомольский энтузиазм, наверное, в ка-

кой-то степени был, особенно в первый год, но он просто в моей памяти не отпечатался.

Так, в нашем классе только одной Лере Марченко пришла в голову мысль пришить себе на грудь к школьному фартуку карман для постоянного и обязательного ношения комсомольского билета. Но это была ее индивидуальная особенность, которая отсутствовала даже у родной сестры. И мне теперь кажется, что с ней была осторожна в высказываниях не только я, но и Алла Головня, которая вдруг оказалась дочкой Валентина Федоровича, нашего нового математика, перешедшего из другой школы. Впрочем, я не исключаю, что у кого-то, особенно в других школах, было иначе.

К примеру, уже совсем недавно моя близкая подруга по университету, воспитанная тоже на Украине, но в семье убежденного и искреннего партийца (я сразу оценила полугодную жизнь в их семье в 1947 году, хотя ее отец тогда был директором Луганского хлебозавода, в которого из-за его честности даже стрелял кто-то из подчиненных), вспоминала, с каким искренним подъемом они несли много часовые караулы у могил двух павших краснодонцев Олега Кошевого и Любы Шевцовой в Ровеньках и, воодушевленные их подвигом, проверяли себя на выносливость болью, голодом или жаждою. У нас в Полтаве тоже была героиня-подпольщица Ляля Убийвовк, замученная фашистами, мы тоже чтим ее память в день героической гибели и знали подвиги ее подпольной группы, но отмечали их иначе: помню лишь раз общешкольную пионерскую линейку, но обычно к нам приходили со своими воспоминаниями или ее учителя, или знавшие ее люди, и мы приносили цветы на ее мемориальную парту.

Официозная атмосфера в нашем доме разрушалась и комичными папиными сожалениями в разных очень домашних ситуациях, дескать, «плохо вы выполняете линию партии» или «нет на вас должного партийного руководства». А дело бывало самое простое, вроде прополки и поливки огорода, обязательных для бабушки церковных посещений годовой литургии или управления нашей тети Мары «областной кошачьей богадельней». Наверное, свой вклад вносило и постоянное отцовское подтрунивание над какими-то важными «генералами» и «генеральшами», якобы пациентами нашего дяди Вани, от которого тот только привычно и добродушно отшучивался; бывали и отцовские антиидеологические комментарии по поводу выступающих артистов. Так, он задавался вопросом, кто из них – «секретарь парторганизации», анализируя их репертуар и манеру держаться. Причем часто попадал в точку.

### Громовое эхо и смерть Сталина

**А**дальше политика вторглась и в наш дом. Кажется, почти сразу после моего вступления в комсомол отец ездил в Москву в командировку. Поскольку он обычно останавливался у бабушкиной сестры Тани, живущей в самом центре, то привез от нее бабушке и всем нам страшную весть. Для меня это был действительно громовой удар большой психологической силы: оказалось, уже давно арестован их общий племянник Алик, который рос без матери, со своей уже покойной бабушкой, не чаявшей в нем души, и вот идет следствие... Вся наша семья тогда была в шоке от этого известия.

Дело в том, что бедному Алику (Александру Ивановичу Писнячевскому) с детства очень не везло: казалось бы, ему, единственному сыну врача и талантливой аспирантки Киевского университета, расти бы и радоваться, но его родители разошлись через год после его рождения (случай не такой частый свыше девяноста лет назад). Самая младшая бабушкина сестра Лина (Елена) мамашей оказалась легкомысленной, она тут же отвезла сына в Полтаву и оставила его у своей матери, решив строить свою жизнь без ребенка. Сама же в первый год оккупации Киева со своим будущим мужем выехала в Европу и оттуда в США. Еще до войны при жизни своей болеющей бабушки Алик попал из ее рук сначала в руки деда по отцу, профессора-психиатра, а в 17 лет – в Ленинградский морской техникум (прообраз Высшего инженерно-морского училища им. Макарова). Окончив его, младшим механиком канонерской лодки он воевал на Балтийском фронте, совсем молодым получил фронтные награды (три медали, в том числе «За оборону Ленинграда»). Его жившие в Союзе три тетки по матери никогда не забывали о нем, всегда беспокоились о его жизни и успехах, переписывались с ним и осуждали (правда, в разной степени) свою безответственную сестру. После войны эта Лина разыскала через толщу заграничных родственников тетю Таню и передала ей в Москву для своего сына какие-то подарки, в том числе золотые часы. Алик же никогда не мог простить своей матери ее предательства, тем более – отъезда в Новый Свет. Вся семья бурно обсуждала его реакцию на материнские знаки внимания (например, он демонстративно разбил часы об стену). Когда Алик затем служил старшим механиком заграничного торгового флота, то наконец женился, у него родилась дочка, но радость теток была недолгой: девочка умерла очень рано, чуть ли не через полгода, и это общее несчастье не укрепляло, а, наоборот, разрушало его брак. И вот вдруг в это тяжелое для него время Алика настиг арест по неизвестному обвине-

нию. О его дальнейшей судьбе было неизвестно.

До этого события для меня мамин двоюродный братик, которого в подростковом возрасте она знала и помогала нянчить своей бабушке лет пять-шесть (все вспоминала, как он любил «пенченку», которую якобы «делают из телятины»), был далеким «внесценическим персонажем», и вдруг он сразу стал жуткой реальностью (познакомилась же я с ним и единственный раз в жизни прожила неделю под одной крышей только через шесть лет, сразу после его реабилитации). Страх тогда сковал даже смелую тетю Таню, тем более ее сестер – бабушку и тетю Мару. Помню слезы и заказные церковные службы бабушки, озабоченные бегания тети Мары к знакомому архиерею за советами. Позже мы узнали о доносе на Алика какого-то попутчика в вагоне поезда: слишком откровенно передавал он свои впечатления о жизни английских докеров, да еще и с английскими словами, тогда звучащими экзотически.

И вот меня где-то на пятнадцатом году обуял мучительный страх: опасность подстерегала везде, где я очень просто могла сказать что-нибудь лишнее, неподходящее! Оказалось, всюду есть внимательные посторонние уши, притом еще и желание выпрямить чужие мысли самым чудовищным способом! Это длилось довольно долго, пока повседневные дела, и школьные, и бытовые, не отвлекли и не успокоили кое-как мои оголенные нервы.

Именно тогда в моей голове прочно засели дотоле редкие, очень противные мысли: о чем можно и о чем нельзя говорить (например, я побоялась писать о нашем несчастье Неле, а вдруг прочтет письмо ее папа?); кому можно доверять, а кому – нет, учителей я перестала представлять себе единым монолитным фронтом, противостоящим ученикам, и стала задумываться, кто из учителей на самом деле думает так же, как я, но не говорит по необходимости, и т.д.

Помню совершенно точно, что с этих пор стала размышлять о детях в детских домах и по-серьезному жалеть их. Ведь им опасаются доверять воспитатели, и никто, совершенно никто не говорит правды, боясь за себя и близких. О том, как точно я в 14-15 лет вычислила проблемы этих ребят, узнала только из недавних бесед со своей большой приятельницей, известным в Петрозаводске врачом, которая после блокады и гибели родителей воспитывалась в детском доме. Ответственная комсомолка и отличница, она читала свой доклад на тему «Сталин и дети», составленный по большой и красочной книжке, и вдруг случайно поймала на себе не то горько-иронический, не то презрительный взгляд своей любимой

учительницы, на какую-то минуту вышедшей из образа «советского педагога» (после доклада она ее, как обычно, похвалила).

Мне даже кажется, что я тогда не делилась своими мыслями даже с домашними, что вообще было не свойственно моему характеру, и, наверное, сошла бы с ума, если бы не множество ежедневных забот, требующих внимания и обязательности. На меня надеялись, и я не имела права подводить.

А немного раньше, в начале 8 класса, у нас появилась одна очень милая и скромная новая девочка, Шура Алексеева, приехавшая откуда-то из другого города. В первый же день своего появления эта смуглая кудрявая красавица при замершем от любопытства классе всех нас потрясла тем, что ответила по русской литературе вводный параграф из учебника (больше 4-х страниц) буквально слово в слово, как стихотворение. Ошарашенная ее памятью и прилежанием, наша новая учительница (о ней скажу позже) после затянувшейся паузы (было видно, что не знала, как реагировать) поставила ей четыре. Девочка крайне старательная, она в этом же роде отвечала и по другим устным предметам, а вот по точным наукам у нее были вначале одни двойки за непонятные ей задачки. В общем, меня «прикрепили» к Шуре «подтянуть» ее по алгебре и геометрии, тем более что почти сразу я оказалась председателем школьного учкома и сама своей рукой должна была два раза в четверть выставлять на «экран успеваемости» собранные «показатели» из других классов.

В общем, не вдаваясь в детали своего репетиторства, скажу, что я несколько месяцев кряду оставалась с ней после уроков, отрывая время от своих подопечных пятиклассников и от музыки, пока Шура не начала справляться с контрольными. Это так обрадовало ее отца (военного летчика, который возил свою семью за собой с места на место), что он перед новогодними каникулами притащил мне в подарок коньки с ботинками, от которых, безмерно удивленная, я как-то не посмела отказаться... Ставшая мне близкой и горячо опекаемая Шура через год, бедная, опять переехала куда-то. И это хоть и огорчило меня, но «сняло с моих плеч груз ответственности», по словам второй год сидевшей со мной Томки Штанько (к тому времени она стала моим самым верным другом).

Не помню точно, в каком классе появилась у нас Тома. Знаю только, что они приехали на Украину, на родину ее отца, после землетрясения ужасной силы 1948 года в Ашхабаде. Тогда этот город был практически полностью разрушен, и жертвами его оказалось колоссальное количество населения. Об этом почему-то строго запрещал говорить Томе ее

папа, но у нее от меня не было секретов. В их семье погибли родители Томиной мамы, причем после первого толчка еще живой дедушка успел прикрыть собой 4-летнего братишку Тома Алешу, а свою жену-туркменку и старшую дочку раскопал из-под ковра ее папа-украинец.

Тома лицом была похожа на маму, но все-таки сразу определить ее восточное происхождение было трудно. Она всегда была достаточно серьезной ученицей, хотя и не особенно гонялась за пятерками, что мне нравилось с самого начала, так как в моей семье всегда спокойно относились к отметкам и подшучивали над детьми, рыдающими из-за них. В конце седьмого класса нас сблизил музыкальная школа, мы вместе выступали на отчетном концерте, причем Томка, как показалось нам с Нелей, играла гораздо лучше нас! Действительно, она училась в Ашхабаде с пяти лет и у какого-то очень хорошего учителя-ленинградца, а в Полтаве у нее оказалась педагогом молодая девушка, которая не щадилась своего времени, занимаясь с ней даже у нее дома. После окончания музыкальной школы Тома стала с ней заниматься частным образом, и мы играли в 4 руки «Приглашение к танцу» К. Вебера (ее учительница, только окончившая Киевскую консерваторию, сама сделала переложение для 4-х рук!) и даже пытались наигрывать какой-то тоже рукописный фокстрот (конечно, вдали от ушей моей бабушки).

Мы с Томой сидели за одной партой все старшие классы (после отъезда Нели). Этому очень радовалась ее мама Лариса Солтановна, которую я хорошо знала: она тогда не работала и дружила с нашим библиотекарем, часто бывала в школе и была в курсе всех новостей и от нас, и с «учительских небес», которые, правда, к тому времени для меня сильно приземлились. Кстати, это она донесла до меня впечатления моей первой учительницы Анны Яковлевны от посещения нашего дома после отцовского возвращения с фронта.

Особенно сблизил нас с Томой поездка в Киев перед 9 классом. В этот год наш Колечка окончил школу почти «хорошистом» и сделал попытку поступить, по настоянию влюбленного в свою медицинку дяди Вани, в медико-биологический вуз Винницы, где жил и работал его старший брат.

Мама поехала вместе с Колей болеть за него, а меня по дороге завезла к своей двоюродной сестре по отцу тете Марийке, которую знала с детства. Характерна судьба двух племянниц бабушки по мужу – Марийки и Аннуси. Их овдовевшая мать-дворянка, сестра моего дедушки, бросила в Союзе двух старших дочерей: Марийку (14 лет) и Аннусю (16 лет), а сама с младшей дочерью в начале 20-х годов бежала в Ригу. Старшая дочь не растерялась и пошла в

домработницы, чтобы через 2 года попасть на химический факультет Ленинградского университета (это ее муж И.Е. Старик в голод 1947 года поддерживал нас посылками). Марийку же тогда в самые тяжелые годы взяла к себе моя бабушка, она жила под ее широким, хоть и маломощным крылом вместе с пятью собственными детьми еще в подвале на Монастырской. Марийка была года на четыре старше мамы. Позже, уже после раннего замужества этой жизнелюбивой красавицы, к тому времени матери двух малышей, мама жила у нее в Луганске, куда ее распределили после керамического техникума, и всегда с удовольствием вспоминала и «на редкость головастого Сашу Репетина», которого знала еще до его женитьбы, и вообще все их семейство.

В общем, я приехала погостить у своих родных, но совершенно случайно в это время в Киев приехала и Тома со своими родителями. Общительная Лариса Солтановна тут же перезнакомилась со всеми Репетинными, быстро завоевав сердца всех, включая младшего Женю, серьезного и застенчивого мальчика, ровесника моего брата, того самого, который в 15 лет стал жертвой мальчишеского любопытства и во время взрыва найденной неразорвавшейся бомбы потерял правую руку. Женя тогда как раз поступал в институт легкой промышленности, но не на тот факультет, где работал его отец.

Томины родители обычно забирали меня утром и привозили вечером, целыми днями мы бродили по музеям и чудесным киевским паркам. Так продолжалось, пока наш бедный Колька не провалил свой первый экзамен – украинское сочинение, где наделал типичных для русскоязычных орфографических ошибок. Оказалось, учение в этом вузе тогда велось только на украинском языке, и не случайно этот экзамен был вынесен вперед. Пришлось моей маме вместе с Колей срочно ехать домой: оставалась надежда успеть сдать документы в полтавский вуз с русским языком обучения.

Общение Томиной матери со школьным библиотекарем и учителями сильно смущало мою подружку. Хорошо помню ее рыдания по поводу, необычайно смешному для сегодняшней девятиклассницы и вообще для современниц «без комплексов», насмотревшихся пошлых телевизионных ток-шоу типа «Давай поженимся» и подобных. Бедная Томка оплакивала такой ужасавший ее факт: накануне 1 Мая Лариса Солтановна, как она считала, невероятно опозорила ее, раскрыв на родительском собрании страшную тайну: ее шестнадцатилетняя дочь выказала робкое желание иметь капроновые чулки!

Здесь, наверное, следует дать небольшой историко-бытовой комментарий. Это было в эпоху, когда мой отец подначивал нас с мамой тем, что, дескать,

нам «подавай чулки фильдеперсовые, да фильдекосовые» (оба названия он произносил с особым выражением, якобы уличая нас в неких «аристократических» претензиях, чем можно было только рассмешить: фильдекосовые (хлопчатобумажные) стоили тогда дешевле всего, а фильдеперсовые (с шелковой нитью) хоть и дороже, но были последним писком моды только во времена его молодости, еще при Маяковском, который по заказу привозил их Лиле Брик из Парижа). Капроновая же нить в начале 50-х годов очень привлекала своей прочностью и легкостью стирки, но только входила в обиход.

Возвращаясь же к рыданиям Тома, не могу не заметить. Понятия о том, «что такое хорошо и что такое плохо», что позорно и что почетно, что стыдно и что нестыдно, якобы представляя собой некий «психический комплекс», то есть аномальное отклонение(!), крайне изменились всего лишь за какие-то 50–60 лет! Изменились, конечно, под влиянием совсем другой культуры. Ведь только человек, которого нельзя, по выражению Герцена, «подозревать в образовании», не может понять, что во всякой национальной культуре свой уровень дозволенного в публичных разговорах и поведении. И здесь дело совсем не в пуританской «совковости», как пытаются защищать себя раскованные чужой масс-культурой люди, а в тысячелетней культурной традиции, ограничивающей русского человека. Того самого, кому, например, понятны толстовские и тургеневские характеристики скромного юноши как «красной девицы», так как это моральное качество красивой девушки у русских считалось естественной нормой.

С Томкой у нас практически секретов друг от друга не было: она докладывала мне про все свои обиды, впрочем, забывая их достаточно быстро, нередко осуждая своих родителей, почему-то сравнивая всегда их реакцию с реакцией моих. Восхищалась моей мамой, никогда не заглядывающей в нашу школу.

Ко времени нашей дружбы с Томой я заметила в себе явную перемену. Моя смешная ребяческая активность постепенно угасала, и возникали какие-то новые жизненные приоритеты. Под влиянием своей закадычной подружки я стала критичнее относиться к своим общественным поручениям, прежде всего из-за того, что их цели вряд ли оказывались или достижимыми, или достойными. Томку, или Штаню, как ее ласково именовали в классе, возмущало мое суетливое и отнимающее время репетиторство. Да и сама я к своим «учкомовским» обязанностям стала относиться более формально: этот надоевший экран успеваемости стоил мне столько унылого труда по учету оценок от 10 – 11 классных «учкомов», но кому, кроме завуча, он был нужен, если перед обнов-

ленным стендом со временем что-то мало я замечала особо заинтересованных. А в какой-то момент я даже задумалась, куда же это подевалась прежняя дворовая дурочка, затейница и драчунья, которую совсем недавно забавляли такие глупости, как делать что-то «на спор» с мальчишками (влезть на высоченное дерево, забить гол головой, съесть, улыбаясь, без хлеба горькую луковицу, подраться из-за недодержанного в проявителе негатива, даже попровобовать курить махорку) или же отличиться в девчачьей школе: вламываться с толпой в класс, съезжать на лестничных перилах, после звонка на урок с завидной энергией носиться с девчонками по коридору, «спасая больных» на медицинских носилках, сжимать в объятьях хрупкий скелет из кабинета зоологии (к ужасу Нины Ивановны), с необъяснимым любопытством обследовать то подвал, то чердак с крышей... да всего и не перечислить. Характерно, что девятый класс, а точнее новогодний праздник 1953 года, стал последним и в моей бурной сценической «карьере»: советский театр безвременно потерял актрису с явно комическим амплуа.

Мое психологическое взросление совпало с общественными переменами в жизни всей нашей страны.

Дома утром 4 марта 1953 года, когда папа был в своем пединституте и Коля убежал в школу, мы остались вдвоем с мамой. Я сидела за своими арпеджио и рада была оторваться посудачить с ней про день рождения дяди Саши, представляя себе, сколько у них в Ленинграде гостей и что же тетя Гая с бабушкой сегодня придумывают к застолью празднично-вкусенькое, а главное – кто у них в помощниках. И вдруг прибегают тетя Мара с ошеломляющим известием о тяжелой болезни Сталина. Она показалась мне хоть и обеспокоенной, но далеко не печальной, так как у нее на уме было только одно: «Тусенька, чует мое сердце: я все же увижусь с бедным Аликом!» – «Очень надеюсь» – тогда только и сказала осторожная мама. Пришла и жившая у Чапликов с недавних пор тетя Шура Савченко, чудесная и бесконечно ожидающая жилья женщина, санитарка и бабушкина соратница во время оккупации в брошенном начальством детском доме. Тете Шуре, копившей свои гроши на помощь семье больного брата-колхозника, нужно было идти в тот день на работу вечером. Мы тут же включили приемник и услышали сначала траурную музыку, а потом из уст Левитана бюллетень состояния здоровья «товарища Сталина». Она внимательно выслушала, перекрестилась и сказала: «Та хай вже идэ з мыром... Кожну люддыну шкода, алэ цю – ни» (Да пусть уже идет с миром... Каждого человека жалко, но этого – нет). И без всякой логики прослезилась, наверное, вспом-

нив, как ее брата на год засадили за полмешка заплесневелого зерна для голодных детей.

Я пришла в школу на свою вторую смену минут за десять: всюду были включены репродукторы и роились стайки встревоженных девочек. Когда же поднялась на второй этаж, в нашем классе, видимо уже давно, что-то говорила взволнованная и плачущая Лера, по зову сердца «руководящая массами». Масса сидела молча и нахмурясь, а Томка пробормотала мне что-то вроде: «Господи, как она надоела! И так все понятно...» После звонка медленно и спокойно вошла в класс наша новая, с 8 класса, учительница по английскому, молодая и любимая нами Виктория Петровна. Она, конечно, поняла, что мы уже все знаем, и только сказала: «Давайте откроем двери, чтобы слышать последние сводки о здоровье, их передают довольно часто. Все репродукторы включены. Но занятия отменять нельзя». И добавила, глядя на Леру: «Учимся владеть собой!» Тут же она, как обычно, перешла на английский, и урок начался.

Однако вскоре я почувствовала, что со мной что-то творится. Мои корчи от боли и внезапную бледность заметила Тома и начала тут же бить тревогу. Забеспокоилась и Виктория Петровна, вызвав школьного врача. В общем, меня увезли на скорой помощи с приступом аппендицита. Высадили в приемной областной больницы (а это совсем неподалеку от нашей школы) на скамейку ждать дежурного хирурга.

Мы остались вдвоем со стареньким дедушкой и голосом Левитана в придачу. И тут я с большим изумлением рассмотрела сильно пожилого и очень бедно одетого в костюм с многочисленными заплатками колхозника. Сам по себе он, конечно, моего изумления не вызвал бы: в областной больнице естественно было видеть колхозников, а они обычно внешне выглядели ненамного лучше. Но он наморщенными, жилистыми руками с распухшими суставами утирал самые искренние, самые горячие слезы, которые лились ручьем при звуках громогласного репродуктора, передающего бюллетень о состоянии здоровья вождя! Я даже оцепенела от его скорби, и на какое-то время боль отпустила меня: в голове быстро прокрутилось все то, что я к этому моменту знала, слышала и видела про крайне нелегкую жизнь сел Полтавщины. Это знала и из рассказов тети Шуры о своих двух сестрах, брате, племянниках, дни и ночи работающих за нищенские трудодни; из повседневных забот Галочкиных родственников по отцу, приезжавших к нам в город, да и из собственных впечатлений от редких «гостеваний» в их крытых камышами хатках с глинобитными по-

лами, будь то «Вэлыка Бузова» или Новые Санжары. Вспомнила и богатые, сделанные с любовью и великим терпением подарки Сталину со всех концов страны... И подумала: «Как жалко людей, как плохо я их понимаю и вообще как мало знаю...»

Но пришла женщина-хирург, осмотрела меня, по моей просьбе связалась с дядей Ваней (я думала, что лучше он скажет про мой аппендицит домашним), а он почти сразу приехал и забрал меня на Подол, в свою железнодорожную больницу, уговорив на операцию.

Операцию мне сделали только через день. Показательно, что мне ее делал профессор (явление небывалое в провинциальной Полтаве, не имевшей тогда своего мединститута). Жалко, я забыла его фамилию (Джонсон?): он проработал в нашем городе недолго, так как после смерти Сталина его, «безродного космополита», реабилитировали и, видимо, позволили вернуться на прежнее место работы. Но у меня остались яркие воспоминания о том, как он отвлекал меня от нестерпимой боли во время операции под местным наркозом, очень слабо действовавшим. Профессор медицины провел с 15-летней девчонкой занимательную литературную викторину по Державину и Крылову, умело подзадоривая и подшучивая. А ведь в тот день с утра объявили о смерти «товарища Сталина, любимого учителя и вождя советского народа и всего прогрессивного человечества», а он и его бригада оперировали, невзирая на это известие.

Когда через день меня перевезли в общую палату со многими пациентами, среди них я узнала маму Лизы, которая запомнила и меня, так как ее дочка, оказывается, тоже выпросилась когда-то из Зеньковского пионерского лагеря домой досрочно, вслед за мною. Выяснилось, что Лизину маму знали многие больные и врачи железнодорожной больницы как руководящего работника районной администрации. В послеоперационные дни моя боль долго не проходила, и она трогательно беспокоилась обо мне и ухаживала. Но вся палата жила волнениями по поводу смерти Сталина, некоторые утирали слезы, а главное, что объединяло всех без исключения, – тревога: что же теперь будет со страной? Одна пациентка, уже собиравшаяся на выписку, решила ехать в Москву на похороны, так как говорили, что это можно бесплатно. И Лизина мама, которая обычно молчала, бросила ей: «Ну, поезжай, поезжай. На крыше. Готовься к этому со своим вспоротым животом». Но больше всего она меня удивила, когда в день похорон медсестра позвала всех ходячих больных на траурный митинг в рекреацию на этом же этаже. У нас в палате лежачей была одна я (кстати, тогда после аппендицита еще не заставляли сразу вставать, да я бы

и не смогла из-за своего состояния), но Лизина мама, районная начальница и, конечно же, член партии, единственная отказалась идти туда. Когда я осторожно поинтересовалась, что, может быть, ей лучше пойти, так как неудобно, она ответила: «Пустяки. У меня ухудшение». И я усмотрела в ее взгляде явный блеск инакомыслия.

Врачи тоже реагировали по-разному. Ведущая нас молодая женщина-врач вообще об этом не упоминала и в тот день спокойно со мной шутила, расспрашивая о самочувствии, но больные рассказывали, как убивалась на митинге доктор, которая вела соседнюю палату.

Про себя же хорошо помню, что с самого начала задавалась вопросом: «Если в стихах о Сталине его фамилию постоянно рифмовали со множеством глаголов: «стали», «рассветали», «зацветали» и т.д., а особенно с существительными «дали» и «стали», то как же теперь будут рифмовать «Маленков», да и имя «Георгий»? Очень трудные рифмы!» Но вскоре подобрала: «А-а-а... Маленков – Во веки веков!»

Дома о политике при мне что-то не очень говорили: то ли было не до нее из-за моей болезни, то ли уже прошло время активных комментариев. Знаю, что дядя Ваня тогда ждал «хоч ковток свижого повитря» (хоть глотка свежего воздуха), да и папа задавался той же проблемой – «можно ли будет хотя бы дышать».

Зато активно обсуждали ленинградские новости. Как оказалось, в день рождения дяди Саши его кафедра праздновала 20-летие его научной деятельности в университете, и они сделали невозможное. Случайно дотянув со своим энтомологическим сюрпризом, требующим невероятных и длительных хлопот, до последнего дня (раскрашенные чашки долго сохли и отходили после обжига), сумели в день объявления о роковой болезни Сталина без утомительных согласований с парализованным начальством вынести в чреве огромного портфеля через проходную Ленинградского художественного училища свои 19 больших колокольчиков с блюдцами, которые сами же (двое из них) и расписывали заранее раздобытыми специальными красками, каждое – по заготовленному уникальному эскизу. На одной стороне чашки – золотой профиль каждого из 13 нынешних и бывших аспирантов дяди Саши, на второй стороне – тема диссертации по насекомым (например, симпатичные комарики, грушевая плодоярка на плоде груши, всякие гусеницы на лютиках, на сосновых шишках, на орешнике, тутовнике и т.д.) плюс еще пять членов кафедры со своими «чешуекрыльями» темами и плюс чашка дяди Саши с его профилем, юбилейной надписью и фасадом университета на Менделеевской линии (здание Д. Тре-

зини для 12 петровских коллегий). Не знаю, чему мы радовались больше: успешному ли завершению кафедрой тайного годового проекта в такой грозовой для страны день, уникальному ли научно-художественному памятнику энтомологии или же действительно трогательной любви и уважению его учеников и коллег по кафедре.

В школе же, как оказалось, меня больше всего ждали мои пятиклашки, во всяком случае, уже после похорон Сталина они каждый день заглядывали в мой класс и мучили Томку расспросами. Дело в том, что по плану перед мартовскими каникулами у нас должен был состояться необычный сбор пионеротряда с приглашением родителей на тему «Любимая книга детства в нашей семье» и все девочки должны были предварительно выяснить, про какую книгу (то ли любимую, то ли сыгравшую особую роль в жизни членов семьи) расскажет кто-то из домашних и они сами. Эти данные «оргкомитет» рассмотрит и отберет то, что интереснее всего. Но события государственные, и мое отсутствие заставило их волноваться: оставалось мало времени. Особенно суетились мои любимые помощницы – девочки-двойняшки Оля и Аля, дочери нашего концертмейстера из музучилища, к которым я была неравнодушна из-за их чудесного пения на два голоса! Но мы все успели подготовить и провести еще до каникул, и получилось все хорошо и по-домашнему.

Однако больше всего мне запомнилось после похорон Сталина совсем не это, а реакция учителей, прежде всего нашей новой учительницы украинского языка Параски Сэмэнивны Борячок, очень мягкой, доброй и слабохарактерной. Явно не сильная в профессиональном отношении, она к тому времени была награждена несколькими трудовыми наградами (мне казалось, что у нее был и орден Ленина, но не ручаюсь). В отличие от других учителей, она чрезвычайно любила рассказывать о своей жизни, притом в лицах. Например, смешила нас тем, как она будила своего великовозрастного сына, бегая под окнами и стуча в стекла (ее одноэтажный домик был справа от Березового скверика): «Васю, сынуку! Васылю, сыночок, прокынься (проснись)! Прокынься, дытыно (деточка)!.. А ну, збудыся нарэшти!.. А ну, збудыся нарэшти та видкрывай вже свої впэрти очи (А ну, пробудись, наконец, и открывай уже свои упертые глаза!)! И вот наша Прасковья Семеновна, оказывается, ездила в Москву на похороны Сталина!

Хотя она рассказывала об этом нам раз пять, если не больше (девчонки постоянно отвлекали ее от дела, нарочно провоцируя, и хотя мы знали наперед все то, что она скажет, я никак не могу понять до сих пор, как она туда попала и что было правдой в ее эмоциональном «отчете», а что – выдумкой). Она го-

ворила, что ехала поездом: «Аж ось вона, Москва! Мэни и сонэчко яснишэ свитыло, и пташки так спивалы, так спивалы, и гилля (ветки) так вжэ зэлэнило... Аж ось вин, батько наш ридный... Лэжыть, наче (будто) живой, наче спыть...Тилькы оченят його глыбокых вже не побачыты николы... Лэжыть, а гудзыкы (пуговицы) так и сяють, так и сяють... А усюды квиты, квиты, квиты (цветы)... Така людына помэрла! Що ж цэ робыцься (что ж это делается), що робыцься!»

Конечно, ни о какой давке или сложностях поездки она не упоминала, но «сияющие пуговицы» из ее речей наводят на мысль, что она что-то видела, так как десятилетиями позже я читала, что к сталинскому старому мундиру действительно пришивали золотые пуговицы. У нашей «классной», то есть «русачки» Полины Моисеевны, губы совершенно непроизвольно растягивались в улыбку и глаза смеялись, когда с ней говорили о Параске Сэмэнивне и ее воспоминаниях, причем так же, как и у ее близкой подруги Виктории Петровны, «англичанки». Обе они, замечательные умницы и профессионалки, для всех нас были главными «властителями дум» в последние три школьных года, и думаю, что тогда ко всем речам нашей заслуженной Прасковьи Семеновны они относились очень и очень иронически. Уверена, что не мог иначе воспринимать их и Валентин Федорович Головня, отец Аллы, только он был более сдержан с нами и молчалив, почти не допуская посторонних разговоров и не обнаруживая реакции. Он раскрепощался только тогда, когда говорил о любимой математике, и я очень ценила, что он наконец познакомил меня с занимательными задачками. Своей дочери он, как оказалось с ее слов, несколько раз приводил в пример меня, совсем не подозревая, что я притихла совсем недавно и меня заботит, что Алка меня возненавидит как примерную деточку, которой я никогда не бывала. Но она молодец, все понимала как надо.

Среди наших учителей я с опаской относилась только к нашему историку-фронтовику Михаилу Ефимовичу, который был секретарем учительской парторганизации и лектором обкома партии. Его нервный тик на лице после контузии мог бы в детско-подростковой аудитории срабатывать против него, но мы, напротив, очень уважали его за эту фронттовую отметину. Он был явным интеллектуалом, всегда чрезвычайно серьезным и строгим, требовал обязательно вести конспекты его «лекций», которыми он называл объяснение нового материала. Поскольку я верила и верю, что дети, как правило, – это «рентген семьи», то вызывала уважение и его слава отца лучшего ученика соседней школы. Но, увы, мои конспекты, которые я потом захватила с собой в Ленинград, оказались всего лишь выжимками из курса

истории партии. Однако же к этому первокурсному экзамену он готовил нас заранее.

Вспоминая общую реакцию людей в моем окружении, я думаю, что всех тогда объединяло одно собственно историческое чувство – конца определенной эпохи, то есть перелома, поворота привычной жизни в туманную неизвестность. Как будто опустился занавес после важного действия незаключенной народной драмы.

А вот чего ждали от будущего – это у всех было по-разному, так как зависело от личного опыта, идеологических предпочтений, образования и, конечно, просто от моральных убеждений.

И что же? Прошла целая жизнь, на протяжении которой я была свидетелем и шокирующей правды XX съезда партии, и «хрущевской» оттепели 60-х годов, брежневского так называемого застоя, и чехарды престарелых незаменимых секретарей, и горбачевской «перестройки», и разгона избранного Верховного Совета, и новой эпохи Ельцина – эпохи безоглядной свободы личности и нравов, и не менее сложного времени утверждения своего достойного места Россией в современном мире. Менялись системы управления, менялись идеологи, менялись партии, менялось порой на противоположное и отношение к Сталину... Но народная драма, связанная с его именем, все еще не окончена!

Спрашиваю себя: ну и как теперь я определилась? С негодующим большинством или так же «инакомысленна», как и в 15 лет? И честно отвечаю: и сейчас, когда я много читала, смотрела документальные и историко-художественные фильмы, сопереживала репрессированным народам и отдельным личностям, узнавала о трагических судьбах целых семей, я все еще знаю недостаточно, а потому и понимаю далеко не все. Например, совсем недавно узнала из телепередачи такой эпизод: Хрущев подал Сталину свое представление на расстрел семидесяти тысяч жителей западной Украины, на котором Сталин написал резолюцию: «Остановись, дурак, с кем же ты будешь работать?»

Вот уж поистине мои плоды познания все же точат черви сомнения. Про себя понимаю одно: никогда не смогу принять, чтобы нравственные законы государства не совпадали с обычными человеческими.

Скорее всего, время и только время, не говоря уже о невидной, неблагодарной и кропотливой работе с архивами, позволит оценить истинную роль этой одиозной личности в истории. Слишком много я знаю теперь не только об идеализации, но и о демонизации государственных деятелей, которая происходила и происходит у меня на глазах.

## Кумиры и приоритеты

**В** выбор моих позднеподростковых приоритетов вносили свои коррективы не только общественные перемены, но и события школьной и домашней жизни вкупе с возрастом.

В старших классах у нас достаточно резко поменялись главные наставники. Прежде всего, по счастью, к нам попала приехавшая откуда-то из «романтического далёка», как тогда представлялось, новая учительница-«русачка» Полина Моисеевна Литвак, взявшая у нас и классное руководство. Только много-много позже, перед ее отъездом к дочери в Израиль, узнала ее истинную предысторию. Выпускница одного из театральных вузов России (точнее не помню), она попала по распределению в театр исконно шахтерского города Юзовка (в те годы Сталино, позже Донецк), откуда вынуждена была из-за болезни уйти сначала в корреспонденты, а потом и в дикторы радио. Как корреспондента судьба свела ее с овдовевшим членом обкома партии, семилетнюю дочку которого она очень полюбила и фактически из-за нее, по собственному признанию, вышла замуж. Через девять лет мужа перевели в Полтавский обком, и она решилась пойти вместе с приемной дочерью в лучшую тогда школу города, только Люда – ученицей в 9 класс, а она – в 8 класс учителем русской литературы. В те времена она впервые осваивала дотоле неизвестную ей методику преподавания и очень сокрушалась, что многого недодает. Но мы, разумеется, совершенно не чувствовали ее затруднений: она буквально жила в мире литературы и превосходно сумела передать нам это свое восприятие, будучи настоящим кладезем разных интересных и поучительных фактов помимо учебной информации. Она любила выступать и на наших школьных вечерах, высоко поднимая их эстетическую планку. Помню, как артистически читала она отрывки из Льва Толстого – свидание Анны Карениной с Сережей и сцену на перроне из «Воскресения», когда согрешившую Катюшу Маслову в окне вагона потрясает вид преуспевающего виновника ее трагедии. В это исполнение она вкладывала столько личного осмысления жизни и столько собственной души, что, помню, мы с Томкой даже задавались вопросами: «Да полно, Толстой ли это? Или наша любимая Полина Моисеевна приоткрыла свою душу и говорит о лично пережитом?» Не верю, что ее чтение хоть кого-нибудь из моих ровесниц и тем более учителей оставило равнодушным.

Любили мы и ее разборы сочинений, тем более что лучшие она всегда зачитывала вслух и обязательно отмечала не только содержательные, но и стилистические находки всех авторов, поднимая их

в собственных глазах и умело стимулирую к вдохновенному словесному творчеству, как известно, не знающему границ. Вообще, и как учитель, и как классный руководитель она отличалась большим тактом и чуткостью. По-настоящему уважала каждую из нас, и чувствовалось, что всегда боялась обидеть: наверное, сказывалась и ее жизненная судьба замечательной приемной матери. Например, она ни разу не посетовала, что не видела в школе моей мамы: зачем? Познакомились через два года во время небольшой загородной экскурсии.

Характерно, что именно она остановила Томкины рыдания из-за чулок: «Очнись, Тamarочка! Ведь это такой пустяк!!!»

В восьмом классе, когда Шура Алексеева поражала не только одноклассниц, но и учителей своим прилежанием, хотя у нее были проблемы с усвоением выученного, а потому даже некоторые из учителей не удерживались и подшучивали, Полина Моисеевна грудью бросалась на ее защиту, укоряла их и доказывала, что такое серьезное отношение к учебе принесет плодов больше, чем выпавшая кому-то счастливая легкость усвоения. Говорила: «Ох, как часто она порождает общую легковесность!»

Занятий русским языком я что-то и не припомню, наверное, тогда в программе старших классов его не было. Но вот кружок по русскому языку она вдруг объявила где-то с сентября 10 класса. Даже для начала поручила мне выступить с информацией о ставшей в свое время сенсационной работе Сталина 1950 года «Марксизм и вопросы языкознания», в которой благодаря серьезным консультантам утверждалась, в общем-то, азбука языкознания, положившая конец откровенному социологизму в этой науке.

Я подготовилась и даже по отцовской подсказке запаслась интересными и смешными примерами жаргонов. Но потом ей что-то помешало, или она просто забыла, что вообще-то Полине Моисеевне было несвойственно. Мне же было неудобно напоминать, что я готова и жду первого заседания. Зато в будущем для меня это совершенно неожиданно сыграло судьбоносную роль при поступлении в университет.

В школе наша «русачка» сразу сдружилась с молодой выпускницей Харьковского университета Викторией Петровной Фесенко, очень энергичной, обаятельной и остроумной преподавательницей английского языка. Эти две задушевные подруги полностью завладели умами и воображением нашей ранней юности. К нашему восторгу, они даже сшили себе платья, пусть разнофасонные, но из одной и той же серой в рубчик шерсти (господи, да тогда же очень трудно было достать шерстяную материю, и,

как мне представляется, она существовала в продаже только как остатки военного мародерства). Фотография, на которой вполубнимку запечатлены они в этих символически связующих их нарядах, была чуть ли не у каждой из нас.

Виктория Петровна любила каток – и наши девочки ринулись на каток, порой просто прикручивая коньки к валенкам, как это делала отчаянная Ольга Елизарова, которая каталась лучше всех нас, и родители просто не успевали менять ей обувь.

Полина Моисеевна не представляла себе жизни без театра – и мы всем классом быстро приобщились к нему. Приглашали к себе артистов для обсуждения новых постановок и даже в определенной степени познакомились с полтавским театральным закулисем. Именно Полина Моисеевна, помню, в подробностях расспрашивала меня о спектаклях, которые я сумела повидать в Москве (сцены из балетов в Большом) и Киеве (опера «Евгений Онегин»). Более того, бурная возрастная фантазия одноклассниц, постоянно бродившая вокруг любимой двоицы, не находя мало-мальски съедобной пищи, легко примысливала влюбленных в них красавцев артистов из Полтавского театра им. Гоголя и достойных их, подчас очень смешных знаков внимания, о которых слышали или которые, конечно, только и вычитывали из книжек. Например, что кто-то из этих артистов следует «как тень» за нашей любимицей, вздыхая под окнами, или же отпечатывается в глазах случайных свидетелей в непременно романтических позах у ног возлюбленных. К примеру, на катке, когда некий стройный красавец будто бы шнуровал ботиночек нашей несравненной Виктории Петровне, что якобы воочию созерцала счастливая Светка Комарова.

Удивительно, но среди наших учителей мужского пола у моих одноклассниц ни один не вызывал такого пронзительного интереса, как наши две остроумные интеллектуалки. Разумеется, этому мешала и большая возрастная разница, и безусловный в те времена ученический пиетет перед учителями (да и не только учеников!). Видимо, слишком прозаичными нам казались и простой, доброжелательный и понятный математик Валентин Федорович, и наш молодой, но маленький и несколько квадратный логик, то со своими совершенно простецкими задачками, то с абсолютно заумными глупостями, которыми он упивался сам по себе, ничуть не обращая внимания на каких-то не созревших разумом шестнадцатилеток; и тем более Филипп Федорович, наш астроном в 10 классе, уже в почтенных летах, который говорил еле слышным шепотом, поэтому все были в ужасе и всё собирались жаловаться директору (пока мы с Аллой Го-

ловней не предприняли свои меры); и даже наш постоянный историк Михаил Ефимович, предельно серьезный, деловой и строгий, разумеется, не поощающий никаких глупых фантазий.

Из других учителей в старших классах запомнилась преподавательница химии молодая и строго взыскательная Нина Ноевна, хорошо умевшая добиваться от нас своего, а также физичка Тамара Константиновна, очень живая и самоироничная женщина с диабетической полнотой и нездоровой одышкой, которую вся школа почему-то звала «Стрэлочкой».

Тамара Константиновна наконец-то взялась серьезно за наши «физические» пробелы и даже невежество, но ее частые бюллетени за три года так и не позволили ей подтянуть весь класс до нужного уровня. Знаю, что я у нее считалась чуть ли не самой сильной в решении задач, но, увы, я никогда не могла, выражаясь папиной фразеологией, «щелкать их как семечки», то есть решать с ходу любую задачку из нашего задачника, хотя по алгебре, тригонометрии, геометрии, да и химии – могла. Поэтому по моей просьбе папа даже дважды устраивал мне двухчасовые консультации с преподавателем физики пединститута, в ходе которых я впервые замечательно глубоко поняла, что значит репетитор – свой, индивидуальный учитель, умеющий ответить на любой вопрос и уловить именно твой разрыв в логической цепочке рассуждений. В выпускном классе, – и это для меня было неслыханно, – я даже беспокоилась о задачах в экзаменационных билетах! Но, как оказалось, совсем напрасно: наша Тамара Константиновна озаботилась заранее, дав перерешать все задачки того же типа, притом уж очень простые, а потому никаких неприятных сюрпризов на школьных экзаменах быть не могло. Но... что толку, если я совсем не была уверена, что сдам физику на пятерку вне нашей школы при поступлении в вуз и смогу успешно учиться дальше?

Для старшеклассников тогда у нас не было никаких специальных кружков, ни тем более факультативов или спецкурсов, это потом уже они стали появляться как дополнительная часть учебной программы. В мое время даже не было предусмотрено никакого домашнего труда вроде швейного дела или кулинарии для девочек, так же как и в мужской школе – чего-либо в подобном роде для мальчиков. Впрочем, был короткий опыт, протянувшийся учебную четверть и связанный с нашим школьным врачом – очень смешной и маленькой, круглой, как колобок, женщиной, постоянно и умилительно хлопотавшей о подопечных «головках», «спинках» и «температурках» и отличавшейся на редкость высоким голосом. Она вела одну четверть восьмого класса необычный предмет «Основы гигиены».

Из него больше всего мне запомнилась ее тонкоголосая, просто комариная лекция с музыкальной интонацией под антиэстетическим названием «Вошь – паразит человека», а также наше беганье по лестницам и коридорам с медицинскими носилками. Можно только удивляться, сколько удовольствия приносили они в жизнь восьмиклассниц: на них с восторгом по очереди чуть ли не каждая из великовозрастных девиц торжественно возлежала, то сотрясаясь от смеха, а то изображая объект сострадания, взывающий своими жалобными стонами об экстренной помощи.

Было у меня, кроме физики, еще и такое, на этот раз явно слабое место в усвоении учебного материала, как черчение. И тоже это было связано не только с моим отношением к предмету, но и общей невезучестью всего класса. Дело в том, что черчение у нас было один год и его преподавала нам только приехавшая в Полтаву женщина лет сорока, со счастливой внешностью Афродиты и очень эффектной седой прядью в пышной экстравагантной прическе, – в общем, красавица Галина Николаевна с забытой мною фамилией и с квалификацией художницы. Сначала мы были просто заинтригованы ее чарами – красотой, статью, необычными нарядами. Но потом один, второй, третий урок по черчению проходил, а мы только и слышали от нее восторженные, но довольно бессвязные и сумбурные речи-воспоминания о Ленинграде-Петербурге и его великих зодчих, белых ночах, мостах, об Академии художеств, ее выпускниках и пр. Когда же кто-то из нас заикнулся о черчении, она спохватилась и начала приносить с собой по одному крупным типографским чертежам разного рода орнаментов из повторяющихся геометрических фигур, причудливо вписанных друг в друга, и вывешивать их на доску. Причем это не мешало ее отрывочным воспоминаниям, которыми она только и жила и которым посвящала практически все учебное время. От нас же требовалось к следующему через неделю уроку начертить тушью (сначала только черной, потом и в сочетании с красной) на ватмане такой же орнамент, но с другими заданными параметрами. При этом она едва-едва познакомила нас с инструментами готовальни, которой у многих вообще не было. Более всего Галину Николаевну волновало, чтобы чертеж был подписан строго по правилам, в особой табличке и красивым чертежным почерком. Ее требования совершенно не соответствовали полному отсутствию логики и методической беспомощности. Думается, неслучайно Коля и его товарищи из строительного института удивлялись этим заданиям.

Короче говоря, класс довольно скоро убедился по многим признакам, что наша наставница – человек

явно психически нездоровый, и, увы, не преминули этим пользоваться напропалую. Например, мы с Тоймой просто переадресовывали все задания Коле или его приятелям, которые очень любили вертеться у нас дома (благо, строительный институт был совсем рядом) и все хорошо чертили. Большинство же одноклассниц устраивалось иначе: они по очереди выполняли задания на большом листе, а потом его много раз урезали и делали таблички с новыми подписями, чтобы получить зачет. На уроках же невинно задавали глупые вопросы вроде «Как вы думаете, Галина Николаевна, возможна ли настоящая дружба между женщиной и мужчиной?», и она с удовольствием попадалась на подобные провокационные удочки и отвечала нам бессвязной лекцией, которую обычно не слушали, занимаясь своими делами. Однако ее удивительно забавный то ли доклад, то ли, как теперь говорят, дискурс, именно на эту тему сначала в глобальном «историческом разрезе», а потом из жизни ленинградских художников и ее собственной, у меня когда-то был законспектирован и долго хранился уже как уморительный курьез моей школьной юности, всегда напоминая мне «Письмо к ученому соседу» Чехова.

Особенно в старших классах я начала принимать своих учителей не как таинственных небожителей, а как обычных смертных со своими проблемами, родственниками, болезнями. Наверное, этому способствовали не только история с учительницей черчения, но и моя дружеская и территориальная близость с Аллой Головной, знакомство с ее семьей, в том числе мамой и братом (несколько лет Вадик учился в одном классе с Колей), но более всего история в 10-м классе с нашим учителем астрономии Филиппом Федоровичем. Дело в том, что наши самые сильные одноклассницы вдруг засобирались идти жаловаться директору на пожилого педагога, который еле слышно говорил, да и плоховато слышал, а потому сложный материал усваивался всеми очень трудно. Это вообще-то было правдой, но очень жестокой. Астрономия у нас была предмет не главный, имелся учебник, задач по ней вроде не решали, и можно было бы потерпеть.

Валентин Федорович через Аллу просил меня остановить девочек и попытаться помочь Филиппу Федоровичу, замечательному профессионалу-математику и, кажется, его учителю. Он жил со старенькой и больной женой, а потому ему еще надо было работать. И тут меня надоумила мама: «Знаешь, – сказала она, – лучший способ понять материал и закрепить его – это несколько раз объяснить его другому. Я это хорошо знаю как бригадир в классе времен бригадного метода». После этого я выделила одну из суббот на астрономию: по

учебнику составила краткий конспект того, что мы прошли (до этого с устными предметами вообще не умела работать), а уже в понедельник нагло объявила девчонкам, что все понимаю и могу им ответить на вопросы по учебному материалу. И что же? Очень скоро и сама разобралась, и меня стали воспринимать чуть ли не будущим астрономом. Поскольку взятая под домашний контроль Алла тоже разъясняла непонятное и даже нейтрализовала особо резко настроенную Леру Марченко, то мы добились того, чего хотели.

Не могу я, вспоминая свои юные годы, обойти и еще одну тему. Это теперь, в эпоху сексуальной революции, чуть ли не общим стало убеждение, что в головах девушек пятнадцати-семнадцати лет непременно должны вертеться мальчики, взрослые отношения, необузданные страсти или, по крайней мере, нездоровое любопытство. Ничего подобного в моей школьной юности не припомню.

Во-первых, времени на все это совсем не было, и это не просто слова; во-вторых, все окружающие, включая самих моих подружек, считали, что у нас все впереди; наконец, в-третьих, никому из нас попросту не приходило в голову, что программируемый в неизвестном и далеком будущем «принц на белом коне» может предстать в образе слишком знакомого дворового мальчишки или, скажем, привычных и житейски заземленных Вовок, Ленек, Шуриков – товарищей братьев. Так, в моем случае, неумеренное общение нашего Коли с друзьями надо было все же ограничивать (семья и все вокруг всегда знали Колечкину натуру: с младенчества лишенный инстинкта собственности, маломальской «автофилии», он ради друзей и знакомых полностью забывал не только о себе, но и о любой реальности, заверяя их, что «этого у нас навалом», включая свободное время!).

Насчет интереса к мальчикам, вспоминаю свою уже почти взрослую усмешку, когда в аспирантские годы я услышала у нас в саду звонкий голосок подружки одиннадцатилетней Танечки: «Она говорит, что влюблена в Витьку Стеблия! Ха-ха-ха, да он же из нашего двора!!!» Непроизвольно задетая ее заразительным серебристым хохотом, я тогда еще подумала, что это ведь так и было, во всяком случае, для меня, как и для этой хохотушки, уж точно такие ребята не представляли возвышенной тайны, казались «серыми, как штаны пожарника», а потому трудно было высечь хотя бы искру романтики из таких будничных отношений.

Кажется, в мои юные годы значимость фигуры противоположного пола только возрастала от неизвестности и психологической тайны личности, что ли.

Однако понимаю, что совместное обучение подростков способствует более раннему сближению. Более того, поскольку наш Коля то ли с седьмого, то ли с восьмого класса стал учиться в смешанной железнодорожной школе, куда взяла его под свой контроль мама, перейдя на полную ставку учителя французского языка, такие проблемы потихоньку стучались и в наш дом. Вспоминаю, как подшучивал наш отец над Колиным восторгом по поводу белых брюк и белой курточки, в которые принарядила его как-то весной мама. Он к ним присовокупил черные перчатки, и когда отец встретился с таким франтом в паре с милой девочкой на улице, он вынужден был пройти мимо, не желая его конфузить. И вообще в старших классах наш Колечка вдруг полюбил делать девчоночьи фотопортреты, а я все выпытывала, кто из объектов его внимания хорошо учится, и с огорчением узнавала, что моего родного брата как назло интересуют бесцветные двоечницы.

Когда он уже учился в институте, его юный глаз вдруг остановился на одной десятикласснице из его бывшей школы. Это была некая Таня, фамилию которой я, конечно, забыла, – удивительно симпатичная русая девочка с длинными косами и глубокими синими глазами в умопомрачительных ресницах. Увы, она соображала еле-еле, и я, всего лишь ее ровесница, по просьбе дяди Вани, у которого в больнице работала медсестрой ее мама, занималась с ней как репетитор по написанию сочинений и про себя приходила в совершенное отчаяние от ее безграмотности и неразвитости речи. Все лето Таня регулярно выполняла мои дилетантские задания, не ленясь карабкаться в жару к нам на гору с Подола, а братец подстергал ее с фотоаппаратом и надоедал мне ужасно. Тем самым он замечательно подготовил почву, чтобы свою будущую невестку я в мечтах представляла себе хотя бы четверочницей. Много позже я с первого дня бурно приветствовала нашу Зину, узнав про ее красный диплом и поняв, что милосердный Господь услышал мои молитвы и мой брат наконец оценил гармонию внешнего-внутреннего! И в этом не было ни капли глупого пятерочного снобизма, просто дали себя знать мои яркие, но жуткие впечатления от Колькиных пассий времен его раннего юношества.

Сопоставляя юношеские представления своей эпохи и нынешней, с грустью вижу, что вся атмосфера резко изменилась в этом отношении где-то в начале девяностых годов прошедшего века особенно. Создается впечатление, что подрастающему поколению как будто специально урезают детство, а уж юность точно, выбрасывая из жизни этих ребят самую чудесную и романтическую пору ожиданий и предчувствий! И мне очень жаль,

что эмоциональные нормативы массовой культуры, в первую очередь телевизионной и эстрадной, переменялись так жестоко!

В старших классах все другие мои занятия особенно резко, порой даже свирепо ограничила музыка. С высоты прожитых лет мне кажется, что окончание моими соученицами Лерой и Тамарой детской специальной школы и их освобождение от ответственности не испугало меня, а, наоборот, как-то даже подстегнуло волю и упрямство. Думаю, незаметно старались и домашние: бабушка, мама. Иначе почему именно в эти годы запомнились большие концерты в честь бабушкиных именин 30 сентября, на которых всегда почему-то оказывались самые уважаемые мною слушатели – ее бывшие классные дамы сестры Старицкие и бывшая гувернантка трех старших бабушкиных детей Анна Ильинична (не могу вспомнить фамилию)? К тому времени она была уже заслуженным учителем с большим стажем, работала завучем одной из миргородских школ и часто приезжала в Полтавский пединститут по разным делам, останавливаясь, конечно, в бабушкином доме. Ведь это к ней в Миргород бежала от зверствующих анархистов только-только овдовевшая бабушка с большими детьми. Женщина маленькая и худенькая, с огромными выразительными глазами и тяжелой длинной косой, аккуратно уложенной вокруг головы (буквально с риском сломать тонкую шейку, как казалось тогда нам с папой), пользовалась в Миргороде огромным авторитетом.

Помню, я играла перед гостями ноктюрны Ф. Листа (№ 2 и № 3), Шопена (Соч. 9), а в какой-то раз и «Фантазию» до минор Моцарта, и каждая из этих очень живых и почитаемых старушек всегда вдохновляла меня, причем удивительно, но каждая по-своему. Кому-то я напоминала собственное участие в благотворительных концертах, кому-то бабушкину сестру пианистку Анну Николаевну (несколько лет она была концертмейстером у А.Н. Вертинского в Париже), кому-то даже более громких исполнителей, но все же это не было просто откровенными папиными шутками вроде того, что Владимир Софроницкий мне «в подметки не годится». Они даже нашли за что похвалить совсем еще сырой ноктюрн Листа, что я про себя и отметила. Судя по этому, задним числом понимаю, какие задачи ставила перед ними бабушка, а впрочем, все три чудные старушки были педагогами от Бога и могли сами умело поощрять новые шаги в таком трудном деле, как фортепиано.

В день именин бабушки выступали не только ее разновозрастные внуки, но и обязательно она сама с обширной продуманной программой, а также, правда, после оговорок, на рояле играла и

другая именинница – Надежда Александровна Старицкая, даже в старости замечательная исполнительница сонат Бетховена (два огромных тома, потом унаследованные мною, уже более 50 лет составляют гордость моей нотной библиотеки). В дуэте с бабушкой тогда обычно пела мама, но иногда и Марина, особенно если ее подбивал дядя Ваня. Сбегавшиеся соседи обычно стеснялись заходить к гостям и слушали под окнами в саду и в коридоре. А когда пели украинские народные песни, то еще и подхватывали.

Вечернее музучилище требовало от меня воскресных «жертвоприношений» – обязательных посещений гармонии, теории музыки, музлитературы. В нашей учебной группе оказалось человек десять, из них только трое школьников: знакомый мне виолончелист Коля (кажется, Бубнов), сын священника, с которым мы играли в ансамбле, и девочка из нашей школы Стелла, и тот и другая старше меня на класс. Остальные, уже взрослые, играли на разных инструментах, и только у меня со Стеллой и еще у одной совсем взрослой девушки фортепиано было основным инструментом. Если занятия теорией музыки не представляли особой сложности, то этого не скажешь о гармонии (полифонии).

Не помню почему, но я оказалась в этой группе опоздавшей на четыре-пять занятий, о чем всегда очень сожалела, так как трудно было сориентироваться в абсолютно незнакомом коллективе без помощи. Но со Стеллой мы сразу стали держаться вместе. Оказалось, что наш преподаватель гармонии (ни о каких учебниках тогда не было и речи) читал лекции, которых никто не записывал полностью, и задавал задания – по строчке басовой мелодии для определения созвучий с тремя другими голосовыми партиями, то есть для построения аккордов. Эти задания выполнял один Коля (создавалось впечатление, что только с ним и работал наш учитель), причем оба держались несколько высокомерно, как посвященные в мистические элевсинские таинства, недоступные остальным смертным. Во всяком случае, подобно афинским гражданам, никто к ним с расспросами не обращался. По признанию Стеллы, ее, как и остальных, настигала настоящая паника от еще непонятной терминологии типа «альтернация», «модуляция», «разрешение субдоминанты» и прочего. Когда я появилась с опозданием, в моем распоряжении оказались только небрежные и неполные записи Стеллы, которые я, конечно, тщательно разобрала, привлекая своих домашних и пытаюсь понять логику. И вот на следующий же раз я постаралась выполнить задание и засыпала лектора вопросами, от чего у этого преподавателя вызвала настоящее изумление (по словам Стеллы, у него действи-

тельно «отвисла челюсть»). Видно, я расшевелила и остальных, которые устыдились, поверив, что не боги горшки обжигают, и понемногу группа начала наконец подтягиваться: записывать все как следует, спрашивать непонятное и пробовать решать задачи. И все же наш контрапунктист (имени не припомню) вряд ли был асом в своем деле. Ведь чуть ли не самыми яркими впечатлениями об этих занятиях, увы, у меня сохранились застенные звуки: каждый раз, когда только начиналось наше постижение тайн контрапункта, в соседнем классе разворачивалась распевка вокализ уже немолодой певицы Аллы П. с глубоким, бархатным голосом, но с уморительно-неблагозвучной фамилией, которая, к сожалению, оказалась нам известной и начисто затмевала все прелести ее пения. Уходя с занятия, мы все распедали ее вокализы и особенно одну строчку романса, ее она разучивала с завидным упорством: «Видел я, как пролетала ласточка в небе... А... А-а-а!»

Почему-то мне совсем не запомнились преподаватели музлитературы, и поэтому предполагаю, что они менялись. А вот концертмейстером неизменно оставалась замечательная пианистка и ближайший друг моей Ольги Васильевны Елизавета Сергеевна, чьи дочери-двойняшки так чудесно пели дуэтом и были моими любимыми подопечными пионерками, а одна из них – председателем совета отряда. Елизавета Сергеевна изумительно легко читала ноты, всего лишь просмотрев их за какие-то несколько минут, а потому казалось, что ее репертуар вообще не имеет границ. Когда же мы не могли сдержать своего восхищения, она только улыбалась и приговаривала что-то вроде: «Побойтесь Бога, это только кажется». Праздниками оказывались те, увы, немногие воскресенья, когда к нам приходили из филармонии музыканты симфонического оркестра. Во всяком случае, первые концерты Чайковского и Грига я слышала живьем в их исполнении, в самый свой нужный возраст, то есть, как говорят психологи, в сензитивный период. Вспоминая эти времена, благодарна судьбе, что у меня была такая возможность. Даже если это исполнение не было идеальным. Понимала ли я тогда это? Наверное, далеко-далеко не так, как сейчас.

Вообще же, залезая под сугробы памяти и вспоминая старшие классы школы, я как-то особенно остро чувствую всю справедливость рассуждений баско-испанского писателя и классика экзистенциализма, большого поклонника Льва Толстого – Мигеля де Унамуно. Он размышлял о единстве «внешней» истории (государственной политики и королей прежде всего), которую он считал поверхностной и даже лживой, и «внут-

ренней» (народной, познаваемой через его быт, фольклор, искусство, даже через пейзаж). В этой внутренней истории он ценил отпечаток «народного духа», его «интуитивное мирозерцание». Не ошибусь, если признаю, что именно в пятнадцать – семнадцать лет мое мировосприятие носило такой малорациональный характер, поскольку все же было обусловлено семейным бытом. Как говорится, «своих мозгов» для понимания нашего общественного существования еще не хватало, а повседневная наша жизнь в большей степени определялась отцовскими проблемами этого времени.

Во-первых, в вузах полным ходом разворачивалась антисемитская кампания, которая резко меняла настроение отца, вызывая порою негодование и разочарование в людях. Запомнилось, как возмущался он, отстаивая при прохождении по конкурсу свою коллегу по кафедре Марию Исаковну Каган, чья дочка Сима, чуть постарше меня и росшая без отца, была всегда под его опекой; как сильно был огорчен и встревожен, когда на ученом совете «прокатили» хорошего историка, доцента Лазовского (его машина потом долго стояла у нас в саду, пока он искал новое место работы за пределами Полтавы), да и другие неприятные истории, хотя бы того же оперировавшего меня хирурга.

Во-вторых, в это время резко повысились требования к квалификации преподавателей и их профессиональному росту, наука из специальных исследовательских учреждений шагнула и в образовательные. Наш отец, как я теперь понимаю, получил в своем Московском Литературном институте не самую плохую общую гуманитарную подготовку, но более всего, конечно, литературоведческую. Сужу по тому, что ее ценил, например, ставший несколько позже очень известным филолог и философ Алексей Федорович Лосев, который в довоенное время, отлученный репрессиями от Москвы, какой-то период оказался его коллегой по факультету и любил вести с ним беседы на литературные темы. В довоенной же Полтаве место было только на кафедре русского языка, и отцу пришлось переориентироваться на чтение языковедческих курсов. Но к началу 50-х годов его специализации и самообразования оказалось недостаточно, и от отца, избранного к тому времени заведующим кафедрой, требовался научный рост и кандидатская диссертация. Хорошо понимая, что его самое лучшее время, загубленное войной, уже прошло, отец все же повернулся лицом к научной работе, невольно иронизируя над собой и своими товарищами по «научным» занятиям. Он тогда трезво оценивал и библиотечные возможности

провинциальной Полтавы с полусохранившимися архивами в сравнении с книжными сокровищами Москвы, а тем более его смешили местные квазинаучные конференции, где долго и важно дебатировались вопросы разграничения «великодержавного шовинизму» и «украинського націоналізму», типа: «Як трэба казаць: «Ленін» с мягкім [л'] или «Лэнін» с твердым [л]?» И глубокомысленно и серьезно принимали резолюцию: «Трэба казаць пасэрадне (то ёсьць полумягко)». Мы с Колей тогда часто хохотали, слушая его украинско-русские (макаронические) «байки». Например, очень смешной диалог двух «сидельцев» о традиционном «курячем» и «интеллектуально-научковом» способах высихивания своей продукции: «Сыдила квочка, як та цяця, На яйках, продолжая род. Наоборот, Один доцент про граматычний род Пысав научну працю...» Подобные шутки были особенно актуальны среди отцовских коллег «в эпоху административного приобщения масс к науке», как он тогда выражался.

Тем не менее папа стал активно копаться в уцелевших полтавских архивах в поисках мало изученных материалов, интересных в языковом отношении. В связи с выбором темы, как я сейчас понимаю, он сначала обращался за научной консультацией в Киев к уже известному тогда историку-слависту Леониду Арсеньевичу Булаховскому. Однако вернулся разочарованный то ли его равнодушием, то ли явным снобизмом по отношению к «неостепененным» фронтовикам и навсегда решил связать свою научную ориентацию с любимой Москвой и непременно найти своих старых учителей, особенно профессоров И.В.Устинова и Д.Н.Введенского.

Конечно, дома вся семья жила в ритме папиных новых проблем, радостей и разочарований, включая его поездки в Москву на кандидатские экзамены (мы все по-новому приобщились к немецкому языку), а также архивные поиски и находки. Отец очень любил Гоголя (у него есть несколько статей о его языке), но считал, что он более чем за столетие уже хорошо изучен, а потому искал другие интересные по языку материалы, ярко характеризующие историю общественной мысли провинциальной Полтавы. Тогда он интересовался педагогической дискуссией, в которой главным застрельщиком был талантливый педагог и писатель Антон Семенович Макаренко. Но отца, видимо, смущал слишком пролетарский пафос государственного воспитания, который отстаивал Макаренко. Когда же ему в руки попали дневниковые записи, письма и статьи В.Г.Короленко, он с радостью нашел в его лице своего полного единомышленника, и именно

этот автор совершенно очаровал его своей искренней правозащитной деятельностью и всегдашним противостоянием черносотенной дикости. Одно время папа приходил домой после архивов с очередными цитатами из Короленко и заражал всех нас своим восхищением, иногда вызывая их бурное и долгое обсуждение.

Помню, как далеко за полночь засиделись вместе с дядей Ваней Колькины ребята-студенты, обсуждая проблему сравнения этноса славян – украинцев, русских и поляков, поднятую В.Г. Короленко (как известно, сам он имел все три генетических истока и тесное общение с ними). Она оказалась очень близкой Колиному тезке-«футболисту» (по фамилии Забыйворота), да и ярому спорщику Вове Сезонову. Зная Владимира Галактионовича еще лично и тем более зная его семью, наша бабушка только подтверждала собственным отношением папины впечатления. В общем, сначала «Галактионич» стал «внесценическим» членом нашей семьи, а уже потом стилистический синтаксис его пламенных речей закономерно предстал предметом отцовского специального интереса. Папин выбор горячо одобрил, став научным руководителем диссертации, его старый профессор Иван Васильевич Устинов, который к тому времени уже был реабилитирован и вернулся к работе в Московском педагогическом институте (тогда им. Ленина). К сожалению, мне неизвестно или просто не помню, в какие годы точно сидел Иван Васильевич, но знаю, что ему при аресте пришлось очень несладко: его избивали шомполами, выколачивая оговоры коллег-профессоров.

Разумеется, весь последний школьный год особенно в нашем доме остро стояла проблема моего выбора будущей профессии. По этому поводу мнения, советы и рекомендации были самые разные, в том числе и у моих педагогов. Но музыку я всегда воспринимала только как сугубо личное дело, удовольствие для себя прежде всего, и никогда не представляла себе ее как дело жизни, а в самом конце 10 класса вообще вынуждена была с грустью исключить музыкальные занятия из своего плотного графика. Дело в том, что выпускные экзамены в музучилище по времени совпали с экзаменами на аттестат зрелости, а потому я не решилась рисковать и отложила получение музыкального диплома на будущее. Ольга Васильевна, несмотря на разочарование моим решением не экзаменоваться даже по фортепиано, заверила, что все это можно сдать в следующем году.

Хотя я действительно любила разбираться в любых логических задачках, обожала геометрию и тригонометрию, но технических вузов побаива-

лась из-за черчения и физики. Одно время, столкнувшись с медициной, я даже хотела стать врачом, о чем мечтали для меня убежденные поборники этой профессии в нашей семье – дядя Ваня с Мариной. Если бы в те времена была возможность домашнего видео, обязательно сняла бы крупным планом страстные пропагандистские речи своего дядюшки: «Та що цэ за дивча, оцэ дурнэ так дурнэ!!! Хиба трэба (разве нужно) було дэсят рокив радуваты батькив успихамы та заробляты цю мэдаль, щоб пийты вчитыся на брэхологычний (так он насмешничал над филологией) факультэт? Навищо (зачем)? Люды плачуть вид боли, люды задыхаються, люды падають та ломають руки-ногы, кожний дэнь жинки рожають, захворюють мали диты, а ты що робыты-мэш? Ля-ля-ля?» Но меня приводила в дрожь перспектива с первого курса работать в морге, да и вообще казалось очень страшным и героическим решением посвятить свою жизнь человеческой боли и страданиям, к которым, как знала я себя, никогда бы не смогла привыкнуть.

Наиболее же подготовленной я чувствовала себя к изучению филологии. Однако больше всех против этого был, увы, мой отец, который беспокоился о моем выборе той профессии, которая менее всего зависит от идеологии, притом востребована безусловно и повсеместно. В девятом классе, когда я лежала в больнице и просила что-либо почитать по языкознанию, он, как я теперь понимаю, нарочно передал мне в больницу «Старославянский язык» А.М.Селищева (1 ч.), наивно надеясь, что сложность этого курса начисто отобьет мои неясные идеалистические ожидания. Увы, он не учел моего упрямства. Кроме того, к тому времени я начиталась, хотя и в отрывках, стоявших у него на самых доступных полках книжек по языкознанию А.С. Чикобавы, Р.О.Шор – Н.С.Чемоданова, даже в Н.Я.Марра заглядывала, ничего не поняв, а также толстого тома «Русского языка» акад. В.В.Виноградова, которым он неустанно восхищался и который я уже привыкла привлекать во всех спорных случаях. Когда же я заикнулась о журналистике, он мгновенно перечеркнул подобные фантазии своим твердым убеждением, что это самая зависимая профессия, очень далекая от самовыражения.

И вот уже позади и последний школьный звонок, и последняя экзаменационная страда... О нашем выпуске 1954 года еще долго ходили в Полтаве легенды. Дело в том, что даже для очень хорошей школы в нашем городе 9 медалистов на 110 выпускников были рекордом, притом 7 золотых и одна серебряная медалистки – это все мои

одноклассницы! Я часто потом благодарила судьбу за то, что с младенчества она не позволяла мне чувствовать себя слишком «отличной от других» и наращивать непомерную самоуверенность, которая многим людям потом явно мешает в жизни. Хорошо учиться у нас считалось просто нормальным. Что касается перспектив учения, то, конечно, поскольку медали тогда открывали дорогу практически в любой вуз, наши медалисты разлетелись и в Московский университет (2), и в Ленинградский (я), и в Киевский политехнический (1), и в Харьковский мединститут (3), и в Харьковский химический институт (1). Три девочки из остальных успешно сдали вступительные экзамены в Харьковский университет, а около 20 человек рассеялись по трем полтавским вузам, которые, знаю, нередко потом кончали с отличием.

Несколько иначе сложилась судьба моей любимой Томи Штанько. Летом, когда шли вступительные экзамены, она их не сдавала: так решили ее родители, учитывая, что ей было только 16 лет. Почти сразу семья переехала в Киев, где Тома повторно окончила вечернюю школу и получила золотую медаль, с которой поступила в Киевский институт легкой промышленности на факультет нашего родственника дяди Саши Репетина. Она потом долго подбивала меня уйти из филологии ради ее механического факультета, на котором, по мнению свято верившей в меня подружки, мне очень просто было бы учиться.

Однако к тому времени я уже была не такой глупенькой, легкомысленно порхающей с предмета на предмет и хватающейся за все и вся, какой меня знала Тома в школе. Мой дядя Саша, можно сказать, сразу спустил меня на землю и объяснил все «на пальцах».

#### **«И случай, бог-изобретатель...»**

**Я** приехала в Ленинград поступать в вуз со своей медалью и документами, в числе которых он увидел Почетную грамоту за работу «по сортовывченню цыбули и буряку», какую-то спортивную награду и Почетную грамоту за работу пионервожатой. Зная еще и о моих занятиях музыкой, мой дядя-энтомолог удивил меня весьма скептическим вопросом: «А тебе не мешали твои пятерки и столь разнообразные интересы? Ты же отличница круглая, как... клюква!» Задетая его иронией, я тут же отреагировала: «Зато про меня могут сказать, что я получила лучшее по тому времени образование (формулировку запомнила из биографии Герцена)». Как же весело и заразительно расхохотался мой ученый дядюшка, когда я выдала ему этот

«перл»!!! Из-за этого обидеться не было никакой возможности, тем более он тут же хорошенечко объяснил семнадцатилетней дурочке: «Твоя пятерка – это всего лишь знак, что в этом классе и у этого учителя (уровень которого под вопросом) ты несколько лучше других. Но чтобы получить лучшее образование в данное время, нужно, чтобы у тебя по каждому предмету был наставник, который держит руку на пульсе своей науки! Да, у отца Герцена была такая возможность! А так ли было в твоей жизни? Представляешь ли ты, сколько у тебя уже упущено по той профессии, которую надо сейчас выбрать?!»

По просьбе моего отца и учитывая широкий спектр моих склонностей, дядя Саша даже водил меня на консультацию к известному пушкинисту Борису Викторовичу Томашевскому, чтобы он поговорил со мной. Я у него, как потом насмешничал дядюшка, «колупала штукатурку» и что-то даже лепетала про лингвистику, и Томашевский тогда вынес вердикт «не мешать».

Прививка от головокращения, легко и мудро проделанная скальпелем биолога, твердо выбравшего свою дорогу еще в девяти-десятилетнем возрасте, была на редкость своевременной. Ведь это произошло еще до поступления в вуз и полностью перевернуло отношение к учению, у которого не может быть дна!!! Я тут же убедилась в своем поразительном невежестве в области филологии: перед собеседованием при поступлении в Ленинградский университет у меня захватило дух от огромной толпы отличников (потом только в нашей группе из 22 медалистов и трех не медалистов оказалась представлена вся страна от Риги до Магадана, от Мурманска до тогдашнего Фрунзе). Эта массовка «клюквоподобных» пятерочников роилась в знаменитом длинном коридоре университета и выясняла вслух малознакомые мне вещи. Мои конкуренты то поражали меня длинным списком всех сочинений Шекспира, то разбирали в подзабытых мною деталях греческую мифологию, то вспоминали сюжет совсем неизвестного мне рассказа Чехова «О любви», чем напугали меня до дрожи. От страха в ушах застучала какая-то самоуничтожительная цитата: «Уме недозрелый, плод недолгой науки, Покойся, не понуждай к труду мои руки...» Господи, да кто же автор?.. И это забыла... Все, все забыла...

Из заветной аудитории, где сидела комиссия, редко кто выходил сияющий, многие выбегали взерошенные и расстроенные, и толку добиться от них было практически невозможно. Единственным утешением в этой моей панике было то, что я поняла: все ребята идут сюда из-за литературы. Поэто-

му сразу объявила комиссии, что хочу быть лингвистом. Вот тогда-то и пригодился мне мой подготовленный, но непрочитанный доклад по работе Сталина. Кто бы подумал, но именно четыре отличия языка от надстройки (и это было все, что спросили тогда у меня экзаменаторы на собеседовании), то есть абсолютная, стопроцентная случайность, определили мою судьбу и спасли от грозившей альтернативы броситься в пучину неизвестной и страшной медицины. А ведь именно об этом тогда робко мечтал весь мой полтавский тыл!

\* \* \*

Прокручивая в памяти конкретно-реальную картину своего полтавского детства, хронологически выстраивая все большие и малые события своей жизни с их радостями, потрясениями, страхами, бурными увлечениями и разочарованиями, остро осознаешь себя пусть бесконечно малой величиной, но фигуркой масштабной исторической панорамы нашей страны, а свою украинскую часть жизни – документальным свидетельством, казалось бы, совсем недавнего прошлого.

Мне кажется, люди должны знать, что разъединение России и Украины прошло по живому: перерезаны были миллионы капилляров биосоциума таких же «дифференциалов истории», как я и мои близкие, которые формально числились то украинцами, то русскими.

Вот и сейчас не дает мне покоя одна любопытная деталь из ушедшего быта. В девичьем альбомчике моей прапрабабки, чистойшей украинки Елизаветы Васильевны Гоголь, на одной из страниц пришит листочек с обрывком цветка и надписью: «Ветка сирени из брошенных нам цветов при вступлении в Лемберг. Владимир Иванович Быков. Май 1848 года». (Лемберг – австрийское переименование Львова. Российскую армию тогда встречали как освободительницу). Это тот Быков, который потом женился на Лизоньке и стал моим прапрадедом. Так разве не доносит до нас этот аромат истории украинско-русские отношения объективно?

А углубивший их в моем роду последующий брак внучки Пушкина, практически русского, с племянником чистокровного украинца Гоголя? Как можно разрубить эти биокультурные связи? Поистине только с кровью!!!

Утопающая в зелени лип, кленов и каштанов Полтава, чистые и прозрачные воды любимой Ворсклы, ее тихие белопесчаные плесы, да и вся Украина с бескрайним размахом черноземных полей, зарослями орешника и терновника по лощинам, как и множество дорогих лиц соседей, учителей, друзей, ровесников – все это действительно «потерянный рай» души, грубо и беспощадно раненной глобальной Историей, которой нет дела до бесконечно малых человеческих величин.

□

***Лидия Владимировна Савельева***

*родилась в Подмосковье.*

*Детство провела в Полтаве.*

*Окончила филологический факультет*

*Ленинградского университета, аспирантуру под руководством профессора М.А. Соколовой.*

*50 лет проработала старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующей кафедрой русского языка*

*Карельского педагогического вуза (института, университета, академии).*

*Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Карелия и РФ.*

*Награждена орденом Дружбы.*

*Автор 6 книг, более 230 публикаций в центральной («Филологические науки», «Вопросы языкознания», «Русская речь», «Русский язык в школе», «Мир русского слова» и др.), академической и региональной печати России, Сербии, Украины, Белоруссии, Израиля.*

